

ИСТИНА КЛАССИФИКАЦИЙ В СИСТЕМАТИКЕ

А. А. Стекольников

Зоологический институт РАН,
199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 1

Truth of classifications in taxonomy

A. A. Stekol'nikov

Zoological Institute RAS,
Universitetskaya nab. 1, 199034 St. Petersburg

Classification considered from the standpoint of traditional logic is only one of the aspects of biological taxonomy that is common with other sciences (geology, archeology, linguistics etc.). The question of truth in respect to this aspect is studied. Correspondence theory of truth and the method of truth definition in empiricism are characterized briefly. Inadequacy of the correspondence theory is shown by an example of theoretical taxonomical works by Pavlinov (2004) and Zuev (2002). A version of idealistic conception of truth is then developed, opposed to the correspondence theory (and metaphysical realism), as well as to empiricism. The main idea of this concept is that truth of knowledge consists of dependence of knowledge on consciousness; only the latter gives existence to empirical evidence as such by imparting form to it. The conception originates from the interest in existence, which was characteristic of the European philosophy from the early beginning and can serve for determination of science as distinct from other fields of cognition. But in contrast to the classical idea of truth, the supposed answer to the question of existence in our conception is that given object is an artefact, but not an element of objective reality.

In accordance with this idea, the truth of classification consists of revealing the arbitrariness of classes. Classification treated as creation of classes can not exist, since properties of classes, basis of classification, supreme genus, and classified objects are given; the

activity of investigator may consist only of identification of objects (assigning to proper classes) or in reorganization of the system of classes. But when compiling a diagnosis, taxonomist analyzes this identification activity and thus criticizes the process of perceiving in which he was involved himself previously, during identification. This allow him recognizing the arbitrariness of a given classification, and then proceeding to its reorganization. However, the truth does not lie in a new classification but just in this recognition that leads taxonomists to developing the field of subjectivity.

Diagnosis compiler pays attention to the perceiving of properties, but usually he does not question the origin of objects. But biological systematics is able to criticize its objects, though only outside the traditional theory of classification.

Considering a taxonomist as a subject of knowledge cannot ignore his somatic aspect, namely his possessing senses. The common opinion that Cartesian basis of science presupposes considering the sentient body as external object only that is opposed to pure thought, is not quite correct. The initial stage of the Descartes' construction in his "Meditations on First Philosophy" treats sense as an attribute of "thinking thing". Subject of knowledge really begins with the doubt of sense, but he finishes with involving the sense into the field of pure thought.

Вопрос об истине нередко ставится в литературе по теории систематики, хотя и формулируется без использования слова «истина». Обычно речь идёт о реальности таксонов (Любищев, 1971; Зуев, 2002), что в определённом смысле то же самое: если таксон реален, то акт его описания, как и само описание (диагноз) истинны. При этом решение проблемы реальности ищут в основном в биологических аспектах систематики, прежде всего в её связи с теорией эволюции. В таком случае возникает вопрос: каким образом возможно (если вообще возможно) говорить об истинности систематики вне связи с этими аспектами? Ведь чисто классификационный момент биологической систематики, общий у неё с геологией, археологией, лингвистикой и другими науками, в общем неустраим, хотя и вытесняется всё больше на периферию научной практики. Данный вопрос рассматривается в настоящей работе.

Настоящая статья продолжает дискуссию о проблеме истины в биологической систематике, начатую было на страницах «Журнала общей биологии» (Стекольников, 2003; Павлинов, 2004). В начале

работы кратко характеризуется классическая концепция истины и противостоящий ей эмпиристский способ её определения. В качестве примеров использования в биологической систематике теории истины как соответствия рассматриваются работы Павлинова (2004) и Зуева (2002). Затем выдвигается собственная концепция истины, которую мне хотелось бы назвать «идеалистической». Этому мешает, с одной стороны, сложность классического идеализма, завершающегося таким трудным для понимания автором как Гегель, и, с другой стороны, судьба термина «идеализм» в советской официальной философии, где он обозначал скорее противостоящее материализму мировоззрение, чем собственно философскую концепцию. Существенно, что и в отечественной литературе по теории систематики встречается трактовка идеализма как мировоззрения (Любарский, 1996). Поэтому необходимо подчеркнуть, что я не намерен в качестве обоснования каких-либо тезисов ссылаться на свои «убеждения» и представления об устройстве мира.

Излагаемую здесь концепцию можно было бы охарактеризовать как вариант «интерналистской перспективы» (Патнэм, 2002), если иметь в виду краткое отрицательное определение интернализма, противопоставляющее его метафизическому реализму, который опирается на представления о мире как совокупности независимых от сознания объектов, «материальных» или «ментальных». С другой стороны, понимание истины в интерналистской перспективе как идеальной согласованности наших убеждений друг с другом и с данными нашего опыта (репрезентированными в нашей системе убеждений), соответствует, в моём понимании, эмпиризму, которого я также старался избежать.

Предложенная концепция истины используется нами для анализа классификационного аспекта систематики. Отчасти эта работа была уже проделана в предыдущей статье (Стекольников, 2003), которая, судя по реакции на неё в печати (Павлинов, 2004) и устным отзывам читателей, получилась не слишком понятной. В связи с этим её основные положения излагаются заново.

Классическая концепция истины и эмпиризм

Классическая концепция (корреспондентская теория, теория истины как соответствия) определяет истину как соответствие идей вещам. Мы будем здесь обсуждать только философски значимый вопрос об истине знания, оставив за скобками специально-логическую тему ложных и истинных суждений. В применении к знанию классическая концепция истины обнаруживает следующий весьма существен-

ный недостаток. Он состоит в отсутствии той позиции, с которой мы могли бы производить сопоставление знания и предмета. Предмет «сам по себе», «существующий независимо от сознания» по определению есть то, что не дано нам, и что поэтому мы не можем ни с чем сопоставить. Знание же есть способ данности нам предмета, а не самостоятельная вещь, с которой можно было бы сопоставить предмет.

Иначе говоря, поскольку мы сами вовлечены в то отношение с предметом, которое называется знанием, у нас нет возможности произвести «независимую оценку» этого отношения. Таким образом, указанный недостаток классической концепции является частным случаем проблемы рефлексивного отношения (отношения с собой). Она была осознана ещё античными авторами, о чем свидетельствует так называемый софизм Эвбулида или парадокс лжеца, который в своей наиболее логически совершенной форме выглядит так: «Некто говорит «я лгу» – и больше не говорит ничего: сказал ли он ложь или правду?» В наше время, помимо логики и философии, эта проблема поднималась также в рамках математической теории множеств, где известен парадокс Рассела, демонстрирующий противоречивость категории «множества всех множеств».

Очевидным способом преодоления этого недостатка является использование понятия сознания. Сознывая, что знаем, мы относимся к своему отношению к предмету и, хотя сопоставление знания и предмета остаётся невозможным, некоторая оценка знания уже может иметь место. Например, мы можем констатировать непосредственность знания, т.е. то обстоятельство, что мы знаем именно сам предмет, а не его «образ». Оценка знания с точки зрения истинности также возможна, но истинным знанием теперь будет считаться не то, которое «соответствует» предмету, а то, которое осознано. Понятно, что когда я не просто знаю, что яблоко красное, но и осознаю, что *знаю* (не воображаю, не предполагаю, а именно *знаю*), что это знание получено посредством чувства, а именно зрения, которое, как известно, может обманывать и т.д., – то в этом случае знание является «лучше обоснованным» или «более истинным», даже если никакого сопоставления моего представления с реальным яблоком не предполагается.

Сознание, далее, не должно пониматься как «знание знания», иначе вместо решения проблемы рефлексивного отношения мы получим регресс в бесконечность. В самом деле, сознательными являются все наши действия, а не только знание: мы сознательно идём, пишем, читаем, подметаем пол, что не означает, будто мы одновременно смотрим на себя со стороны, зная себя идущими, пишущими и т.д. Созна-

ние – это не знание, а скорее воспроизводство отношения к предмету. Сознательно подметая пол, я воспроизвожу деятельность подметания, являюсь её причиной, в отличие от рефлекторной реакции, когда причиной является внешний стимул. Сознывая, что знаю, я говорю, например, что «яблоко красное», воспроизводя таким образом своё знание в речи (в том числе внутренней речи). Отсюда ясно, что разнообразные исследования «субъективного компонента в нашем познании», т.е. знания о знании, являются не способом решения проблемы истины, а разве что побочным результатом этого решения. Проблема истины может и должна быть решаемая в пределах каждого конкретного научного исследования, и она решается тогда, когда исследователь делает рефлексивное усилие по осознанию своих предпосылок, допущений и способов интерпретации данных.

Такова общая схема разработки концепции истины, исходящая из (или, скорее, отталкивающаяся от) классического её варианта. Дальнейший ход, как правило, делается следующим образом. Утверждается, что, поскольку о предмете «самом по себе» мы ничего не знаем, следовательно, одно содержание сознания не может противостоять другому как истинное ложному; все знания с этой точки зрения равноценны. Они, собственно говоря, являются не знаниями «о чём-то», а «чтойностями» (как их иногда называют, используя схоластический термин), самождественными сущностями, вопрос о существовании которых «вне ума» не ставится или признается неразрешимым. Такая гносеология вполне соответствует философскому эмпиризму и должна возводиться к учению Беркли и Юма. Её можно усмотреть в основе большинства концепций истины, использующихся в современной науке.

Отметим, что равноценность содержаний сознания является итогом, а не началом традиционного эмпиризма. В начале наше знание смешано с выдумками, химерами, созданными рассудком, и задача состоит в освобождении от них и обращении к чистому опыту. Опыт при этом выступает в качестве истины знания. Но когда освобождение от предрассудков достигнуто (или предполагается достигнутым), встаёт вопрос о том, что же собой представляет этот чистый опыт, опытом *чего* он является, и вот тогда оказывается, что классическое понимание истины теряет смысл.

Идея объективной реальности в теории систематики

Несмотря на широкую распространённость и привлекательность эмпиризма, оппозиция этому направлению в научном сообществе

также не исчезает. Вопрос о том, «как же всё есть на самом деле», продолжает волновать учёных, и многочисленные попытки переформулировать «самое дело» как непротиворечивость, взаимную согласованность знаний, соответствие критериям операциональности и экономности, практическую полезность и т.д. удовлетворяют не всех. Однако, не видя разумной альтернативы эмпиризму, учёные-теоретики нередко обращаются к классической концепции истины в её исходном варианте, обосновывая этот выбор иррационально – ссылкой на свои материалистические убеждения. Рассмотрим, например, теоретическое описание биологической систематики, предложенное Павлиновым (2004).

Как утверждает этот автор, «очевидно, необходимость различения классификаций, построенных по разным содержательным основаниям, предполагает такую общепознавательную позицию..., согласно которой основной вопрос систематики – это вопрос соответствия таксономических построений объективной реальности» (с. 188). Посмотрим, в чём он видит соответствие объективной реальности. В указанной статье строится схема, где «таксономической реальности» ставится в соответствие «типологический универсум». Элементы таксономической реальности «есть на самом деле» и являются «объектами» таксономических исследований (с. 189). Таким образом, им, очевидно, автор и придаёт статус объективной реальности.

По поводу типологического универсума в тексте возникает некоторая неясность. Сначала о нём говорится как о том, что существует в абсолютном или метафизическом смысле, но затем оказывается, что типологический универсум является всего лишь частью картины мира (т.е., мало того, что частью, но даже не частью самого мира, а частью *картины* мира). Повидимому, слово «абсолютный» здесь понимается не в точном терминологическом смысле «безотносительный», «существующий сам по себе», а в каком-то другом (возможно, «ирреальный» или «идеальный»). Систематик оперирует с картиной мира (это положение продолжает более раннюю мысль данного автора о том, что классифицирование имеет дело не с вещами, а с понятиями о вещах: см. Павлинов, 1996), занимаясь её детализацией, расщепляя типологический универсум на таксоны и признаки. Таксоны же и признаки должны соответствовать элементам таксономической реальности, которые именуются «группировками» и «свойствами».

Таким образом, мы имеем здесь классическую концепцию истины как соответствия идей вещам, о несостоятельности которой было сказано выше. Характеристика её как примитивной (Стекольников, 2003)

– это далеко не только моё частное мнение, как представляется автору. Любая даже относительно современная философская публикация на данную тему, включая марксистские, подробно укажет все недостатки этой концепции (Чудинов, 1977). Замечу только, что в самом деле очень наивно думать, будто назвав одно и то же разными словами («группировка» и «таксон» или «свойство» и «признак»), мы уже различили субъективный и объективный моменты знания и можем говорить об их согласовании, т.е. об истине. Я имею в виду не то, что слова «свойство» и «признак» имеют один и тот же смысл (это не так), а то, что оба они указывают на некоторое *качество, воспринимаемое* нами. А восприятие неизбежно включает в себя момент субъективности.

Значительно более определённы представления о субъективном моменте таксономического знания в книге Зуева (2002), где акцент делается на социокультурной составляющей науки. Тем не менее, общая схема остаётся той же: с одной стороны мы имеем объективную реальность в виде природного элемента объектов науки, с другой – научное знание, которое отчасти прямо отражает эту реальность, а отчасти привносит в свой объект социокультурные элементы. Как же соотносятся природные и социокультурные элементы в научном знании? Отвечая на этот вопрос, автор ссылается на Патнэма, который писал, что объекты не существуют независимо от концептуальных схем (Патнэм, 2002, с. 73). Это утверждение Зуев считает «слишком категоричным» и, в противовес Патнэму, цитирует другого автора (Хакинг, 1998, с. 122): «...многие из наших преднаучных категорий *суть* естественные виды: люди и трава, мясо и конина. В мире просто существуют лошади и трава, независимо от того, что мы думаем об этом, и это должно быть признано любой концептуальной схемой. У истории науки нет оснований отрицать, что мир сам сортирует себя таким образом». Другим примером «объективной реальности», по мнению Зуева, являются такие свойства как твёрдость, жидкость и газообразность, которые «всегда фиксировались человеком посредством органов чувств, и существуют вне концептуальных схем человека именно потому, что представляют природные особенности объектов, выявленные практически и зафиксированные в обыденном языке» (Зуев, 2002, с. 36).

Таким образом, если мы задаёмся классическим вопросом о том, существуют ли воспринимаемые вещи сами по себе или являются всего лишь продуктом воображения, то согласно этому автору, ответ должен быть таков: *некоторые* («многие») вещи и свойства есть на самом деле, а *другие* – всего лишь порождение наших концептуальных

схем. Каким же образом мы отделим одни от других? Допустим, на траве пасутся лошади и овцы. Как мы поймем, что лошади и трава «просто существуют», а вот, например, овцы – это «порождение нашей концептуальной схемы»? Очевидно, что социокультурную природу овец мы можем установить путём выявления той самой концептуальной схемы, которая их порождает. Но как удостовериться в объективной реальности лошадей? Ведь «зафиксированность в обыденном языке» – это достаточно сомнительный критерий истины, а других критериев автор не предлагает.

Непонятно также, почему социокультурный элемент сводится лишь к концептуальным схемам. Можно подумать, что субъективность при-суща только науке, а существующая вне этих схем обыденная практика имеет дело с миром «самим по себе». Кроме того, возникает вопрос о том, с какой позиции мы делаем утверждения о социокультурном элементе знания и выявляем концептуальные схемы. Если знание – это «особый социальный механизм эффективной передачи опыта» (с. 13), то ведь это высказывание относится и к нашему знанию о «социокультурном элементе объекта». А если так, то мы не отвечаем за истинность этого нашего знания. Зная что-либо, мы являемся частью «социального механизма», который и определяет содержание знания. Будучи сами механизмом (или его частью), мы никак не можем доказать, что те или иные наши утверждения выражают истину, а не какие-то особенности функционирования механизма.

Предмет знания как артефакт

Конечно, создавать альтернативу эмпиризму нужно, но это следует делать более аккуратно. Схема с равноценными содержаниями сознания перестает быть применимой, если мы признаём, что сознание не сводится к содержаниям, к сравнению содержаний, к созерцанию содержаний и не является пассивным субстратом для них. Мы сознаём лежащее на столе яблоко как существующее само по себе, а воображаемое яблоко сознаем как воображаемое. То есть помимо составляющих яблоко свойств (круглое, красное, лежащее на столе) сознание имеет дело и с такой формальной (не содержательной) характеристикой, как существование. Безусловно, при конструировании позиции субъекта научного познания мы имеем право воздержаться от суждений о бытии вещей, но стоит ли такие суждения совершенно игнорировать, или же надо учитывать, что такие суждения мы иногда делаем, и каким-то образом принимать их во внимание?

Возьмём такой пример. Мы рассматриваем точечный график, где изученные экземпляры распределены в пространстве двух морфометрических признаков, и замечаем, что несколько точек образуют чёткое скопление, кластер. Теперь мы можем рассмотреть характеристики этого кластера, определить его центр, степень разброса наблюдений вокруг центра и т.д. Но каким образом появился этот новый предмет изучения – кластер? Очевидно, он появился потому, что мы усмотрели относительную близость между точками и осознали их в качестве «кластера», в качестве существующей вещи. Если же после этого мы просто заявим, что не знаем, есть ли этот кластер на самом деле, но принимаем его в качестве данного нам эмпирического содержания, то мы потеряем всю информацию о нашем участии в образовании этого предмета. В этом и состоит ограниченность эмпиризма.

Рассмотрим подробнее, в чём состоит наше участие в образовании предмета. Ясно, что в предмете есть нечто, что нам навязывается, что мы не конструируем, не создаем, а *воспринимаем*. Так, в приведённом примере близость между точками – это не наша выдумка; мы не можем это свойство произвольно изменить или проигнорировать (так же как и красный цвет воспринимаемого нами яблока). Вместе с тем, момент нашего произвола тоже станет очевидным, если обратить внимание на то, что алгоритмов кластеризации известно много и они нередко приводят к весьма разным результатам. Допустим, окажется, что наша интуитивно выделенная группировка совпадает с той, которая получается методом дальнего соседа, в то время как метод ближнего соседа даёт существенно иную картину. Мы получили, таким образом, некоторые положительные сведения о своей субъективности: наша интуиция, можем мы сказать, вероятно работает так же, как алгоритм дальнего соседа. Это пример «знания о знании», которое, конечно, может быть подвергнуто критике. В частности, неясно, что здесь первично: интуиция ли соответствует определённому алгоритму или, наоборот, алгоритм разработан так, чтобы соответствовать неким интуитивным представлениям о «естественной» группировке. Важно, однако, то, что, получая это знание, мы осознали произвольный характер нашей группировки. И вот этот последний результат истинен бесспорно. У меня, как оказалось, были альтернативные варианты оценки графика, но я их не рассмотрел. Я не сделал разумно обоснованного выбора там, где была возможность выбора, а произвольно последовал одному из вариантов.

Итак, мы анализируем то, что нам представлялось данным, что было получено с помощью интуиции, и выясняем, что оно на самом

деле было получено вполне определённым способом и являлось не «данностью», а чем-то созданным с нашим участием. Мы не осознавали своего участия в создании кластера, поэтому он и представлялся нам данностью. Получается, что мы не просто судим о бытии «данных» нам вещей, но и придаём им бытие. Вот этого определенного кластера вообще не было бы, он не существовал бы ни в каком смысле, даже как содержание сознания, если бы я его не осознал в качестве чего-то существующего. После того, как это обстоятельство рассмотрено на более наглядном примере кластера, ничто не препятствует приложить ту же схему к любым вещам – лошадям, траве и т.д. Да, они кажутся нам данностью, но не значит ли это, что мы просто не осознаём своего участия в их существовании?

Необходимо подчеркнуть различие этого вывода с эмпиристским прочтением известного построения Декарта. По Декарту, мы сомневаемся в бытии вещей и качеств, но после того, как найдено несомненное основание (а именно мое собственное бытие), их бытие в качестве содержаний сознания также становится несомненным. Неизвестно, есть ли яблоко на самом деле, но несомненно, что я думаю, будто вижу яблоко. Можно подумать, что это рассуждение никак не затрагивает само яблоко как эмпирическое содержание. Яблоку наивно приписывалось самостоятельное бытие, а теперь бытие ему придаёт мыслящий субъект – это чисто формальная разница. Содержание же нам предоставляют чувства, и это чувственное содержание как таковое критике не подлежит. Именно так не подлежат критике идеи ощущений у Беркли (1978) и впечатления у Юма (1995). В отличие от этого у нас получается, что мы придаём яблоку бытие, придавая ему саму «яблочность», а не просто предоставляя ему место в своём сознании, поскольку сомнительно существование яблока не только в качестве внешней вещи, но и в качестве представления. Декарт (1994) в этой связи говорит о «материальной ложности идей»: если, допустим, я чувствую тепло, то сомнительно не только существование согревающего меня огня – неясна идея тепла (форма вот этого конкретного ощущения), так как невозможно понять, представляет собой тепло самостоятельное качество или всего лишь отсутствие холода. Поэтому когда я «думаю, что согреваюсь», бытие (в сознании) получает не только согревающий меня огонь, но и сама идея тепла.

Таким образом, *истина знания состоит в его зависимости от сознания*. Это определение некоторым образом противоположно классической концепции истины: вместо выявления тождества знания с предметом самим по себе мы выявляем отсутствие такого независимого от

сознания предмета. Вместе с тем, оно исходит из того же самого интереса к бытию вещей, отвечает на тот же вопрос: «А как на самом деле?» Такой чисто теоретический интерес, интерес к бытию вещей, а не к особенностям их содержательных отношений друг с другом или к их пользе для нас, был характерен для европейской философии с момента её зарождения и, повидимому, также может служить для самоопределения науки, для её отграничения от других институтов, ориентирующихся на знание. Например, так можно отделить современную систематику от «народных таксономий», известных нам благодаря исследованиям этнографов. Ответ на вопрос о бытии, предполагаемый классической концепцией, выглядит так: «На самом деле предмет таков» или «Этот предмет есть на самом деле». В нашем случае даётся другой ответ: «*На самом деле предмет создан нами*».

О несуществовании классифицирования

Классифицирование обычно считают сущностью систематики, хотя таксон может рассматриваться не только как класс, но и другими способами: как место и как тело (см. статью А.А. Оскольского в настоящем сборнике). Под классифицированием при этом понимается создание классификации, разбиение некоторой совокупности на классы. Практическое и теоретическое значение классификаций неоспоримо, и полностью устранившись от задачи их построения, а также выяснения, в чём может состоять научный характер этой деятельности, биологам вряд ли удастся, как бы они ни старались перенести внимание на другие аспекты исследования разнообразия, скажем, на филогению. В этом разделе мы покажем, что создание классификации вообще не может быть *деятельностью*, т.е. свободным, целенаправленным, обоснованным построением, конструированием и т.п. Это некоторый *процесс*, который идёт с нашим участием, но всегда оказывается уже завершённым, как только мы обратим на него внимание. Классифицирование, таким образом, это ненаучный момент систематики, через который на неё влияют неучтённые внешние факторы.

Разбиение на классы, в логическом смысле, имеет следующие предпосылки: наличие класса высшего уровня общности, классифицируемых объектов и основания классификации, дающего нам классообразующие признаки. Например, если мы классифицируем по цвету разноцветные кубики, то кубики – это классифицируемые объекты, относящиеся к классу высшего уровня (классу кубиков), цвет – основание классификации, а конкретные цвета (красный, зелёный) – классообразующие признаки. Ясно, что эти признаки мы не конструируем и

даже не выбираем – они навязываются нам с такой же неизбежностью, как и восприятие, а вместе с классообразующими признаками навязываются и классы. Например, если наши кубики только двух цветов, красные и зелёные, то их распределение по цвету производится однозначным образом – на класс красных кубиков и класс зелёных кубиков. В такой ситуации никакая деятельность создания классификации немыслима: всё, что я делаю, является уже диагностикой, т.е. отнесением экземпляров к готовым классам. Кубики распределяются по классам, которые уже как бы «даны в восприятии».

Точно так же навязываться может и выбор основания классификации. Кубики можно классифицировать по цвету, размеру и, например, по тому, лежат они от меня справа или слева. Это, в частности, зависит от задачи. Допустим, если мне надо наиболее экономными средствами расчистить проход между набросанными в беспорядке кубиками, то естественной будет их классификация на правые и левые. Но задача определяется ситуацией, в которую я попадаю, задача *возникает*, а не создаётся мной. Когда я осознаю, что мне в этой ситуации надо бы заняться классификацией, у меня уже есть в готовом виде и основание классификации, и сами классы. Таким же образом определяется ситуацией и класс высшего уровня (допустим, кубики могут рассматриваться как вид геометрических фигур или вид детских игрушек). Наконец, классифицируемые объекты даны вместе с классом высшего уровня, так что и здесь выбирать и конструировать нечего. Класс задаётся классообразующим свойством, но не *является* этим свойством: должно быть то, что этим свойством обладает – элементы класса. Если класс высшего уровня предшествует классификации, то таким же образом должны быть готовыми и подлежащие классифицированию экземпляры, в нашем примере – кубики.

У классификатора никогда нет, следовательно, никакого выбора, он никоим образом не может повлиять на результат классифицирования. Причём это означает невозможность не только обоснованного выбора, но и свободы творчества, если вдруг классификатор захочет сознательно внести в свою работу условный человеческий момент. Даже если он специально поставит себе задачу создать произвольную классификацию, осуществить её не удастся. Классифицировать ли по первой букве в названиях таксонов? – но расположение описаний в алфавитном порядке есть готовое решение, причём решение очень старое и некогда широко использовавшееся в естественной истории. Основание классификации здесь берётся отнюдь не с потолка – оно берётся из серии известных решений, причём

именно таких, к которым уже прикреплѐн ярлык «произвольных», а классы заранее заданы алфавитом. Как известно, «изобрести» химеру невозможно, можно только соединить готовые элементы – голову льва, туловище козы и хвост змеи.

Если вместо искусственных модельных примеров рассматривать реальную таксономическую практику, то несуществование деятельности создания классификации также вполне очевидно. Заметим, что систематики никогда не строят систему таксонов на пустом месте, они занимаются только перестройкой наличной системы – дроблением и объединением таксонов, изменением границ между ними и т.д. Это значит, что класс высшего уровня всегда задан. Для большинства современных таксономистов, с их узкой специализацией, таким классом является какое-либо одно семейство или отряд. Набор оснований классификации в систематике данной группы также жѐстко задан предшествующей традицией. Казалось бы, что естественные объекты дают большие возможности по крайней мере для обнаружения новых признаков – ведь перестройка системы обычно осуществляется на основе некоторых новых данных, например, морфологических. Однако и морфолог, получающий эти данные, в свою очередь оказывается ограниченным теми содержаниями, которые ему навязываются, а не выбирают им. Как получить новый признак? Нужно взять ту структуру, которая до сих пор не использовалась в систематике данной группы, допустим, щетинки на втором членике антенн у комаров, и изучить её изменчивость. В результате окажется, что в разных таксонах число этих щетинок различно. Мы получили новый признак, но в каком смысле он нов? – только в том, что раньше это свойство не использовалось в качестве различительного признака. И второй членик антенн, и его щетинки – вполне определённые и заранее, до начала исследования известные нам вещи, на которые остаѐтся только обратить внимание.

На самом деле исследователь, занятый исключительно своим объектом, никогда не сталкивается ни с чем поистине новым. Даже так называемый новый вид – это всего лишь ещё один вариант известного нам рода, отличающийся от прочих вариантами известными нам признаков, которые в других комбинациях уже неоднократно нам встречались. Так что пафос исследователя природы, первооткрывателя, постигающего неведомое и т.п., уместен у систематика-классификатора не в большей мере, чем у собирателя марок, наконец заполнившего лакуну в своей коллекции, или у обывателя, купившего себе новые ботинки.

Вовлечение в систематику действительно неизвестных ранее структур приводит к следующей дилемме. Если связь этих структур с известными установлена, то мы фактически лишь переходим к другому языку описания известных структур, если же она не установлена или не учитывается, то мы получаем просто другой объект, отношение которого к прежнему объекту проблематично. Так и получается, например, с молекулярными данными. Пока соответствие между молекулярной структурой и внешними признаками не установлено или не принимается во внимание, эти новые данные образуют особый объект исследования (и классификации): строятся отдельно системы по морфологическим данным и отдельно – по молекулярным, а затем уже рассматриваются возможности их согласования. Трудно себе представить, чтобы какой-то исследователь свёл те и другие данные в единую матрицу признаков, аргументируя это тем, что и то, и другое – признаки одного и того же животного. Если же представить себе ситуацию, когда соотношение генотипа и фенотипа взаимно-однозначно и известно досконально, то использование молекулярных признаков либо излишне, либо, если они используются вместо соответствующих им внешних признаков, представляет собой именно смену языка описания.

Истина классификации

Итак, систематик имеет дело с готовым содержанием, которому он уже успел придать форму (форму признака, таксона или экземпляра), причём произвольно, не делая обоснованного выбора. Таксон реален только в том смысле, что он не сконструирован нами, является результатом восприятия, а не свободного творчества, навязывается нам, а не обоснованно выбирается из ряда альтернатив. Реальность таксона в этом смысле – не более чем мера нереальности систематики в качестве учёного, его бессознательности и зависимости от встроённых в него концептуальных схем, механизмов восприятия и т.п. Она никак не связана с истинностью таксона в классическом смысле, с его соответствием «объективной реальности».

Каким же образом можно говорить об истине классификации? Согласно изложенной выше общей схеме, истина классификации состоит в осознании её произвольности. Для того, чтобы осознать произвольность классификации, не обязательно рассматривать классифицирование с точки зрения культурологии, выявляя в нём «социокультурный элемент», как предлагает Зуев (2002), или психофизиологии, выявляя участие в нём механизмов распознавания образов, осуществ-

ляемого нервной системой человека, или истории и теории науки, делая явным зависимость классификации от принятых концептуальных схем, парадигм и т.п. Достаточно в общей форме указать на то, что классификация – это не результат нашей деятельности, а скорее то, что служит основанием деятельности, а именно диагностики. Такое указывание, как отмечалось ранее (Стекольников, 2003), систематик осуществляет, составляя диагноз таксона.

Сама диагностика состоит в том, что исследователь определяет некоторый ещё не классифицированный экземпляр как тождественный по виду (роду, семейству и т.д.) с представителями некоторого известного класса (вида, рода и т.д.): он *узнаёт* в этом экземпляре представителя известного таксона. В более сложном случае определению подвергается совокупность экземпляров как целое, хотя такие случаи обычно не называют диагностикой. Составитель диагноза имеет перед собой готовую классификацию и ссылается на собственный опыт диагностики, опыт *узнавания*. Его задачей является анализ этого опыта: он должен указать, благодаря каким различительным признакам может осуществиться узнавание и каким способом следует распознавать эти признаки. Выявляя эти признаки и способы, составитель диагноза тем самым осуществляет критику опыта узнавания. Вовлечённый в процесс диагностики специалист (в том числе тот же, кто теперь составляет диагноз) пользовался некоторыми признаками неявно, интуитивно, не обращая внимания на способ их распознавания (возможно, он применял разные способы в разных случаях, например, получая некоторый морфометрический признак, пользовался разными реперными точками при измерении одной и той же структуры), а также он имел возможность пользоваться другими признаками, но игнорировал их, не проводя обоснованного выбора.

Диагностика была, таким образом, произвольной; если же она, несмотря на это, оказалась (или признана) успешной, то произвольным придётся признать и сам тот класс, к которому был отнесён новый экземпляр. В самом деле, класс – это совокупность, представителей которой мы узнаём; возможность узнавания представителей класса определяет существование класса. Класс, по определению, задаётся своим классообразующим признаком и, следовательно, зависит от нашей способности распознавать этот признак. Если же узнавание произвольно, то на каком ещё основании можно было бы признать класс существующим? Возьмём опять пример с красными и зелёными кубиками. Их диагностика, как было сказано, производится однозначным образом.

Но если нам предстоит составлять *правило* для этой диагностики, возникают проблемы. Очевидно, что красный кубик следует отнести к классу красных кубиков, зелёный – к классу зелёных. А если нам вдруг попадется коричневый кубик, т.е. промежуточного между ними цвета? Выделить класс коричневых кубиков? А если после этого нам попадется красно-коричневый?... В результате мы сознаём произвольность существующих классов. Ведь цветовая шкала непрерывна: отчего же мы делим кубики на красные и зелёные, а, скажем, не на красно-коричневые и оливковые (коричнево-зелёные)? Отметим, что в этом втором случае классификация *данных* красных и зелёных кубиков производилась бы тем же способом, что и раньше: красные кубики были бы отнесены к одному классу, а зелёные – к другому, однако определения классов были бы иными.

Как полагает Зуев (2002), проблема существования таксона возникает как следствие изменения ситуации, в которой находится систематик, а именно его выхода за пределы локальной флоры или фауны: «Именно в обыденной таксономической практике складывается представление об индивидуальном характере таксономических различий, поскольку в обыденном мире как правило наличествуют объекты далекого родства: сосна и береза, колокольчик и ромашка, ворона и голубь, вопрос о границах между которыми не встаёт, он появляется в исследованиях объектов на протяжении всего их ареала, когда обнаруживаются близкие им таксоны» (с. 5). В нашем примере с кубиками это означало бы, что мы можем усомниться в существовании классов красных и зелёных кубиков, только реально натолкнувшись на коричневый кубик. Очевидно, что это не так: достаточно просто предположить, что коричневые кубики могут существовать. Если же не делать такого предположения вообще, то и натолкнувшись на коричневый кубик, мы спокойно классифицируем его как красный или зелёный, и никакой проблемы существования классов не возникнет.

В примере с обыденной практикой также обнаружится совсем другой смысл, если мы внимательнее рассмотрим вопрос о том, почему именно в ней наличествуют объекты далекого родства. Дело здесь вовсе не в том, что этой практике недоступны ареалы в целом, а в высоком уровне абстрактности обыденной практики. Например, разбирая однажды ответы школьников на олимпиаде по биологии, я обратил внимание на их склонность писать названия крупных таксонов в единственном числе: «наездник», «летучая мышь» и т.д., а не «наездники» и «летучие мыши». Казалось бы, достаточно заметить, что наездники бывают разные – и вот уже возникает вопрос о границах таксонов, в

пределах *одной* местности. Но даже и замечая различия, человек не всегда придаёт им какое-либо значение. Скажем, у сельских жителей юга России слово «жук» обозначает колорадского жука. «Жуки» будет означать не «виды жуков», а «много колорадских жуков». Остальных видов жуков, при всём их вроде бы очевидном многообразии, как бы и не существует, по крайней мере именно для обыденной сельской практики. Так что будем ли мы иметь дело с индивидуальным характером различий или же с непрерывной изменчивостью, зависит не от материала, а от нашей склонности видеть в нём тот или другой аспект.

Но допустим даже, что в примере с кубиками мы не предполагаем существования других цветов, кроме красного и зелёного. При этом мы можем по крайней мере обратить внимание на тавтологичность нашего диагноза: кубик относится к классу красных кубиков в том случае, если он является красным. Ясно, что это «правило диагностики» фактически не является правилом. Мы просто констатируем, что различаем красный цвет, не указывая, *как* мы его различаем. В таком случае становится очевидной невозможность проверки классификации на истинность. Мы предполагаем наличие некоторой процедуры (распознавание красного цвета), но в чём она состоит, сказать не можем, так что проверять просто нечего. В частности, мы не можем отличить исходное состояние от результата применения процедуры, поскольку не существует незавершённого опыта восприятия, когда цвет «ещё не воспринят». Если снова обратиться к классической концепции истины, то можно было бы сказать о свойстве объекта вызывать у нас ощущение красного цвета (он имеет такую структуру поверхности, что отражает свет с определенной длиной волны), но это свойство нельзя корректно сопоставить с *опытом* ощущения красного цвета так, чтобы определение свойства не зависело от уже наличного опыта ощущения. Сходное положение подробно разбирает Патнэм: если референция (указание на объект) определяется с помощью особого свойства объекта, которое, через каузальную цепочку определенного типа, вызывает определенные высказывания, то чтобы сказать, что такое «цепочка определенного типа», я уже должен быть способен указывать на вещи и свойства, которые эту цепочку составляют (Патнэм, 2002, с. 92).

В итоге составление диагноза всегда даёт возможность осознать произвольность классификации, чтобы затем осуществить её перестройку. Отметим, что оснований говорить о большей истинности новой классификации не существует, причём при любом понимании истины. Перестроенная классификация точно так же будет подверг-

нута критике, как и прежняя. Ценность заключается не в смене классификации, а в том «моменте истины», который возник при подготовке этой смены. Сознвая произвольность опыта узнавания, систематик осваивает сферу субъективности, выстраивает себя в качестве субъекта научного познания. Таким образом можно было бы истолковать загадочные слова Б.С. Кузина (в разговоре, касающемся проблем систематики) о том, что ценность познания состоит в совершенствовании духа познающего (Из переписки..., 1983), хотя это понимание идёт вразрез с его критическим отношением к «формальному познанию» (Кузин, 1992). Из сказанного можно сделать и практический вывод – о необязательности перестройки классификаций. Действительно, в настоящее время идея ограничения этого процесса, всё более принимающего характер катастрофического разрушения системы живой природы и затрудняющего осуществление прикладных функций систематики, просто носится в воздухе.

Классифицируемые объекты

Как было сказано выше, одним из элементов заданности классификации является наличие подлежащих классифицированию объектов. Для составителя диагноза различие знания и предмета реализовано в виде наличия готовых классообразующих признаков (знание) и диагностируемого экземпляра (предмет), а успешный опыт узнавания экземпляра как представителя одного из классов означает возможность сопоставления знания и предмета. Хотя систематик и знает опыт узнавания в качестве произвольного, но не обязательно делает эту произвольность предметом философского анализа, поэтому его практика сама по себе не приводит к отказу от классической концепции истины. Сознание произвольности классифицирования выражается только в перестройке классификации с целью сделать её более «объективной», а не в констатации невозможности объективности. Кроме того, составитель диагноза, как правило, обращает внимание на способы распознавания *признаков*, но не задаётся вопросом, откуда взялись *экземпляры*, вследствие чего, даже если к таксонам он относится вполне номиналистически, экземпляры для него – часть самой природы, элементы объективной реальности.

Проблема выделения экземпляров бросается в глаза, пожалуй, только в систематике колониальных животных и иногда в ботанике, где провести границу между индивидами бывает достаточно сложно. Редким примером критического отношения к объектам классификации в биологической систематике является также идея о том, что мы долж-

ны, на самом деле, классифицировать «онтогенезы», а не особей, взятых на определённом этапе развития (например, имаго). Между тем, осознать произвольность объектов, пользуясь только эмпирическим материалом, без обращения к теориям референции, возможно даже в нашем модельном примере с кубиками. Например, можно задаться вопросом о том, на каком основании мы для отождествления кубиков пользуемся именно непосредственным зрительным восприятием. Почему бы вместо этого не работать с их фотографиями? Далее естественно заметить, что каждый кубик может быть сфотографирован с разных сторон – и вот уже в качестве альтернативы десяти кубикам мы имеем шестьдесят фотографий всех их граней.

Таким образом, систематика имеет возможность подвергать критике сами «объекты» исследования. Надо заметить, однако, что для этого необходимо выйти за дисциплинарные рамки теории классификации. Мы это делаем, когда элемент класса начинаем рассматривать как индивид, отрезок онтогенеза и т.д. Критика узнавания, конечно, также не заключена в пределы этой теории, но она означает выход на более высокий уровень общности, поскольку узнавать можно не только класс, но и отдельную вещь. Отдельная вещь тоже обладает своими отличительными признаками, благодаря которым её можно идентифицировать как именно эту конкретную вещь. Но индивид, отрезок онтогенеза или элемент популяции предполагают совершенно другие, отличные от классифицирования специфические способы их рассмотрения, истинность которых должна быть предметом особого исследования.

Систематик как субъект

В заключение необходимо сказать несколько слов о том, что собой представляет систематик-классификатор в качестве субъекта познания. Как мы видели, ключевыми моментами в определении истины биологической классификации являются опыт узнавания и возможность его критики. Узнавание – это опыт, включающий в себя восприятие и, соответственно, предполагающий наличие наделённого ощущениями тела. Между тем, существует распространённое мнение о том, что базисом современной науки является так называемая субъект-объектная оппозиция, в которой субъект – это только чистая мыслительная активность. Субъект в этом понимании выстраивается путём отвлечения от телесных и психических особенностей познающего. Эту схему возводят к Декарту, с его дуализмом «мыслящей вещи» и «протяжённой вещи». Такая точка зрения, в частности, представлена в ста-

тье А.А. Оскольского в настоящем сборнике. Интересно, что указанный автор считает систематика субъектом именно тогда, когда он работает с классификацией и рассматривает таксон в качестве логического класса. Мы же, изучив позицию систематика, работающего с классификацией, выяснили, что он никак не может игнорировать собственную телесность.

На наш взгляд, представление о бестелесности субъекта является результатом недопустимого упрощения картезианской традиции. Конечно, повод к нему дал сам Декарт, но начало его построения в «Размышлениях о первой философии» требует иной интерпретации. Действительно, в Первом размышлении обманывающее нас чувство выступает в качестве наиболее сомнительного аспекта реальности. Однако вместе с ним подлежащими сомнению оказываются и вполне очевидные математические аксиомы: от критики не освобождаются никакие качества. После же того, как (во Втором размышлении) найдено самодостверное основание философии (*cogito, ergo sum*), ощущение становится на своё настоящее место. Пусть все ощущения равно ложны, но будучи осознанными, в качестве моих ощущений, все они становятся достоверными: «Всё это – ложные ощущения, ибо я сплю. Но достоверно, что мне кажется, будто я вижу, слышу и согреваюсь» (Декарт, 1994, с. 25). Взятое в этом смысле (думаю, что вижу) ощущение есть мышление, оно представляет собой атрибут мыслящей вещи: «А что это такое – вещь мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами» (с. 24). Таким образом, речь совсем не о том, что мы отбрасываем обманывающее нас чувство и вместо этого обращаемся к самодостверной чистой мысли; Декарт вовсе не отбрасывает чувство – он только сомневается в нём. Но когда мы нашли упомянутое самодостверное основание, мы снова рассматриваем чувство и выясняем, что и оно в сущности есть мышление.

Здесь Декарт ещё не делит качества на достоверные первичные, прежде всего протяженность, и субъективные вторичные – цвет, запах и т.д.: все ощущения равно сомнительны и равно достоверны. «Несовершенный и смутный» образ, осознанный как несовершенный и смутный, достоверен так же, как «ясный и отчётливый», поскольку достоверность ему придаётся нами, а не вытекает каким-либо образом из его содержания. Кроме того, выясняется, что и несовершенство образа – это несовершенство умозрения, а не чувства: «Восприятие воска не является ни зрением, ни осязанием, ни представлением,

но лишь чистым умозрением, которое может быть либо несовершенным и смутным, каковым оно было у меня раньше, либо ясным и отчетливым, каково оно у меня сейчас, – в зависимости от более или менее внимательного рассмотрения составных частей воска» (с. 26). Чувство нас на самом деле не обманывает, это не мешающий фактор, который должен быть устранён: обманываемся *мы*, полагая, будто воспринимаемые вещи существуют сами по себе, или считая смутную идею ясной.

Получается, что телесность, в понимании Декарта, «встроена» в субъект, и говорить о «дуализме» его концепции, где «протяжённая вещь» (включая и моё тело как вещь среди вещей) противостоит «мыслящей вещи», якобы бестелесной, не вполне справедливо. Ведь ощущение – это момент телесности и, вместе с тем, чистая мысль. Субъект познания только начинает построение себя с отвлечения от тела, но заканчивает включением телесности в себя, вовлечением её в сферу чистой мысли. Учёный – это не только мыслитель-теоретик, но и «физический» наблюдатель (например, астроном, фиксирующий прохождение звезды через поле зрения телескопа), а наблюдатель не будет наблюдателем, если он только мыслит, но не *видит*. Соответственно, и систематик должен (и может) быть учёным не только тогда, когда он строит компьютерную модель филогении, но и тогда, когда он просто разглядывает рисунок на крыле бабочки.

* * *

За обсуждение и конструктивную критику черновых вариантов настоящей работы автор выражает благодарность А.А. Оскольскому и А.К. Мусихину.

Литература

- Беркли Дж.*, 1978. Трактат о принципах человеческого знания. Сочинения. М.: Наука. С. 152-247.
- Декарт Р.*, 1994. Размышления о первой философии. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М: Мысль. С. 3-72.
- Зуев В.В.*, 2002. Проблема реальности в биологической таксономии. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. 192 с.
- Из переписки Б.С. Кузина и А.А. Любищева, 1983. Природа. № 6. С. 77-87.
- Кузин Б.С., 1992. Упадок систематики (I. Система, эволюция, мульти-модация). Природа. № 5. С. 80-88.

- Любарский Г.Ю.*, 1996. Классификация мировоззрений и таксономические исследования // Современная систематика: методологические аспекты / Ред. И.Я. Павлинов. Сб. труд. Зоол. муз. МГУ. Т. 34. С. 75-122.
- Любичев А.А.*, 1971. О критериях реальности в таксономии. Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода, 1. М.: ВИНТИ. С. 67-81.
- Павлинов И.Я.*, 1996. Слово о современной систематике // Современная систематика: методологические аспекты / Ред. И.Я. Павлинов. Сб. труд. Зоол. муз. МГУ. Т. 34. С. 7-54.
- Павлинов И.Я.*, 2004. Замечания о соотношении таксона и признака в систематике (по поводу статьи А.А. Стекольников) // Журн. общ. биологии. Т. 65. № 2. С. 187-192.
- Патнэм Х.*, 2002. Разум, истина и история. М.: Праксис. 296 с.
- Стекольников А.А.*, 2003. Проблема истины в биологической систематике // Журн. общ. биологии. Т. 64. № 4. С. 357-368.
- Хакинг Я.*, 1998. Представление и вмешательство: Введение в философию естественных наук. М.: Логос. 296 с.
- Чудинов Э.М.*, 1977. Природа научной истины. М.: Политиздат, 312 с.
- Юм Д.*, 1995. Исследование о человеческом разумении. М.: Прогресс. 237 с.